

III. СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

УДК 378

ИЗ ПРОШЛОГО УНИВЕРСИТЕТА

А. Б. Ботникова

Воронежский государственный университет

Поступила в редакцию 4 апреля 2008 г.

Аннотация: Публикация содержит воспоминания о Воронежском государственном университете в 50-х годах XX века и профессорах историко-филологического факультета И. Н. Бороздине, Б. А. Бялике, П. Г. Богатыреве.

Ключевые слова: университет, профессора, наука, история.

Abstract: The publication contains memories about Voronezh State University as it was in the fifties of the twentieth century and professors of History and Philology department I. N. Borozdin, B. A. Byalik, P. G. Bogatyrev.

Key words: university, professors, science, history.

28 августа 1949 г. я впервые ступила на воронежскую землю. Приехала сюда по распределению, после окончания аспирантуры в МГУ. Город был сильно разрушен после войны. Людские потери — огромны. Воронежский университет только восстанавливался. Я попала на историко-филологический факультет. Большинство его преподавателей были, как и я тогда, молоды. Все только начинали свой путь в науке. А тех, у кого учиться, было мало. Но кое-кого из них хочется вспомнить.

С первых дней университет ошеломил меня множеством лиц... Все разные. Сразу трудно было разобрать, кто есть кто. Сейчас они рассыпаны по памяти, как большие и малые бусинки. Как нанизать их на одну нитку? Не все поддаются. Некоторые закатываются куда-то в угол. Другие бросаются в глаза. Кто-то крепко вошел в память и поселился в ней надолго, иные — почти не оставили следа. Неведомо, почему. Не обязательно потому, что были незначительными. Просто моя собственная судьба лишь краем соприкоснулась с ними. Их помню, но знаю и чувствую мало. Память вообще и выборочна, и капризна.

Одной из первых в Воронеже я узнала Валентину Ивановну Собинникову — многолетнего руководителя лингвистической кафедры (в разные годы кафедра называлась по-разному), человека весьма достойного. Но близко с ней никогда не сходилась.

Из тех, что остались на поверхности памяти, назову в первую очередь и по хронологии профессора Илью Николаевича Бороздина. Его лич-

ность для всех, кто с ним соприкасался, всегда была притягательной. Секрет обаяния, думается, заключался в том, что в этом человеке с самого начала угадывался носитель большой культуры, причем культуры, не вчера приобретенной, а как бы изначально ему присущей.

Илья Николаевич приехал в Воронеж незадолго до меня. То есть во время, когда университет, а вместе с ним и историко-филологический факультет, в совершенно разрушенном городе только возрождались к новой жизни. В эту пору все там как бы создавалось заново. Большинство преподавателей составляли люди молодые, только что с учебы. Им еще многому предстояло учиться и, как воздух, был необходим опыт старших. Но старшее поколение преподавательского корпуса составляли в основном те, кто постигал азы науки в первые десятилетия советской власти, в период бесчисленных и мало эффективных реформ образования. Их образованность в гуманитарной сфере, чаще по не зависящим от них причинам, оставляла желать лучшего. Илья Николаевич контрастно выделялся на этом фоне. Выделялся и возрастом, и — главное — своей интеллигентностью, которая проявлялась во всем: в разносторонности интересов, в широкой начитанности, в особенностях жизненного опыта и, наконец, в самой манере поведения.

В первый свой воронежский день, придя в университет, в приемной ректора, одновременно бывшей чем-то вроде профессорской комнаты, я увидела человека необычной внешности. Совсем седой, волосы отливают голубым, старомодная борода клинышком, каких тогда никто не носил. Лицо смуглое (в предках числились и Ганниба-

лы), особенно оттененное белизной волос, живые черные глаза. Он был поразительно красив. Во всем его облике было что-то непривычное, несовременное, изысканное. Изящество высокой художавой фигуры, строгая форма безукоризненно сидящего костюма, тонкие длинные пальцы рук. Это был явно представитель другой эпохи. Позже в доме Бороздиных я видела портрет Ильи Николаевича кисти художницы Ксении Успенской. Выполненный, помнится, в голубоватой гамме, он хорошо передавал облик ученого, его принадлежность к иному времени, в ту пору казавшемуся очень далеким, почти баснословным, прячущимся в туманной *голубой* дали.

Бороздину посчастливилось быть знакомым со многими крупными людьми своего времени. Вехи его биографии, написанной его женой — Полиной Андреевной Бороздиной, вырисовывают в сознании образ эпохи, возникающий в черед фактов и имен. Среди последних — Сергей Соловьев и Андрей Белый, Александр Блок и Максимилиан Волошин, Владимир Маяковский и др. В библиотеке Бороздина сохранились их книги с дарственными надписями. На стене в кабинете висела акварель М. Волошина.

Он охотно показывал свои раритеты: книги с автографами, старые фотографии, рисунки. Меня потряс маленький томик «Снежной маски» Блока с рисунком Бакста на обложке и с собственноручным автографом поэта, подарившего Бороздину свою книжку. Эту книгу я знала по библиотеке, но увиденная здесь, она протянула мостик между эпохами, прильнула к нам, людям 50-х, «серебряный век», его поэзию, тогда полузапрещенную. Это был мир Снежной маски, красоты, изысканности и напряженных исканий русской философской мысли. Причастность к этому миру и создавала особый ореол вокруг фигуры И. Н. Бороздина в глазах его коллег и учеников. Он как бы изначально принадлежал к другим сферам, и ему было ведомо то, чего не знали мои сверстники и о чем только догадывались.

И. Н. Бороздин — фигура во многом знаковая. Воплощение переломной, чреватой катаклизмами эпохи, какой оказалась первая половина XX столетия. Он застал культурный взлет века, его начало, исполненное сомнений, надежд и обещаний, — залитую кровью и смертями историю 30—40-х гг. Жизнь сделала его участником и очевидцем многих событий времени: три русские революции, реформы в сфере культуры и образования... Он был государственным по убеждению. Не исключено, что влияла семейная дворянская традиция. Очень деятельный по натуре, в 20—30-е гг. он принимал участие во многих археологических экспедициях, научных конферен-

циях, занимался редакторской работой, писал статьи... В своей многообразной культурно-просветительской деятельности он, по всей вероятности, видел служение стране и народу...

Родная страна, однако, вознаградила ученого и общественного деятеля восемью годами ГУЛАГа. Ему пришлось разделить участь многих представителей старой русской интеллигенции, которые после Октября не покинули родину, а пошли на службу новому режиму. Но этот режим всеми силами старался избавиться от таких людей. Однажды я осмелилась спросить Илью Николаевича, что ему приходилось делать в лагере. Время, когда был задан этот вопрос, отнюдь не располагало к откровенности. Он ответил, но односложно, резко, как бы пресекая дальнейшие расспросы: «Возил тачку». Картина невероятная, непредставимая... Изящный, интеллигентный господин с тяжелой тачкой в тонких руках... За что? Вспомнился Гумилев: «За то, что эти руки, эти пальцы не знали плуга, были слишком тонки»... Впрочем, такой удел выпадал на долю не только людям с тонкими пальцами. Время прошло колесом по миллионам судеб.

В Воронеже он занимал особое место. Его отличие от других было совершенно очевидно. Необычность привлекала. Люди тянулись к нему. Я тоже в последние годы жизни ученого часто бывала у них. С его женой Полиной Андреевной мы тогда сдружились, и по вечерам я часто забегала в этот гостеприимный дом, благо жили мы по соседству. Профессор имел обыкновение работать по ночам. Поэтому перед вечером спал. А потом появлялся посвежевший и охотно принимал участие в общей беседе, обычно за чашкой чая.

В молодом возрасте полезно бывает соприкоснуться с людьми старшего поколения, разумеется, если это личности. Многого узнаешь незаметно для себя. Илья Николаевич попросил меня почитать курс литературы XX в. на историческом факультете. И сам пришел на лекцию. Лекция была об Анатоле Франсе. Прослушав, одобрил. Но спросил, почему я не упомянула франковскую работу о Жанне д'Арк. А я и слыхом не слыхала о таком сочинении писателя. И извлекла для себя урок: коль говоришь о творческом пути художника, надо знать этот путь в подробностях. Позже прочитала. Надо сказать, с пользой для себя. Настоящего филолога-литературоведа, как, наверное, каждого гуманитария, среди прочего создает еще и количество прочитанных книг. Со временем оно обязательно переходит в качество. Это — закон. Все большие наши отечественные филологи — эрудиты.

Вспоминаются еще какие-то мелочи. Даря мне однажды оттиск своей опубликованной в одном из московских исторических журналов статьи, Илья Николаевич написал: «Не для прочтения, а в знак почтения». И объяснил: книга или статья с автографом — знак подчеркнутого внимания. Он научил меня не пользоваться словом «уважаемый» в письменном обращении: так-де в прежние времена обращались только к кучеру. Не знаю, насколько это правило сохраняет и по сию пору свою аутентичность, но с тех пор в аналогичных ситуациях пользуюсь только словом «глубокоуважаемый». И этот урок засел прочно. Для меня является своеобразным тестом.

В Воронеже Илья Николаевич работал очень интенсивно. Его разносторонняя образованность позволила ему создать на факультете несколько научных направлений. И по сию пору его ученики работают на разных кафедрах факультета. Его не забыли.

Среди наиболее заметных личностей, с кем я столкнулась в Воронеже в начале своей жизни, следует упомянуть еще и Бориса Ароновича Бялика. Это был один из самых одаренных литературоведов, разрабатывавших официальную эстетическую доктрину. Творчество Горького, которого он прекрасно знал, но интерпретировал только в угодном режиме духе, служило ему прекрасным подспорьем для теоретических обоснований социалистического реализма. Его фигура была для того времени тоже по-своему знаковой. Как мне сейчас представляется, он ощущал себя теоретиком нового искусства. Однажды у нас состоялся любопытный разговор. Речь шла о том, что Сталинскую премию по литературоведению получил Б. Мейлах за книгу «Ленин и проблемы русской литературы». По словам Бориса Ароновича, кто-то сказал Сталину, что предпочтительнее было бы присудить премию Бялику. На что вождь будто бы ответил: «Ничего, Бялик еще свое возьмет». В этом случае совершенно неважно, был такой разговор в действительности или нет. Миф важен для характеристики самого ученого. Он себя как-то соотносил с вождем, чувствовал себя исполнителем его воли. Этот «миф», с удовольствием рассказанный, свидетельствовал не только о забавном и простительном человеческом тщеславии, он был знаком эпохального сознания. Если в 20-е гг. Маяковский себя «под Лениным чистил», то люди поколения Бялика совершали эту процедуру уже «под Сталиным».

И вот такого беззаветно преданного человека назвали буржуазным космополитом, он лишился работы и вынужден был искать ее в Воронеже. Свое пребывание здесь он рассматривал как не-

заслуженную обиду, иногда глушил ее, предаваясь неумеренным возлияниям. Но при этом проявлял себя как блестящий лектор, знающий, остроумный, умеющий подчинить себе аудиторию. Студенты его обожали. Популярность ему нравилась. Он стремился к ней, во время лекции умело перемежая научный материал с жизненными подробностями, историческими анекдотами и т.д.

После смерти вождя ученого «простили», и он смог вернуться в Москву, продолжал писать, но такого резонанса, как в 40-е гг., его сочинения уже не имели.

Полную противоположность Б. А. Бялику представляла фигура другого профессора, тоже наезжавшего в Воронеж. Он не был членом кафедры, но тесно с ней сотрудничал. Речь идет о Петре Григорьевиче Богатыреве. Это был совершенно иной тип. К этому времени уже редкий. Тип ученого, всецело преданного науке. Недавно в Интернете прочла материал о том, что еще до войны НКВД «шило» Петру Григорьевичу дело, обвиняя его вместе с другими (Н. Трубецкой, Р. Якобсон) в заговоре против советской власти. Делу почему-то не был дан ход. Представить мирного и полностью углубленного в свою работу Петра Григорьевича в роли политического заговорщика могло только обезумевшее сознание.

О полной неспособности Петра Григорьевича разбираться в политике вспоминал и Илья Эренбург. В пятой книге своих мемуаров он рассказывает о первых месяцах войны: «Что скрывать — настроение посмеяться, и однажды нас развеселил П. Г. Богатырев, ученый-славист. Я с ним подружился еще в Праге в двадцатые годы. Он разбирался куда лучше в старом чешском фольклоре, нежели в карте военных операций, он ходил громко, как еж, топ-топ. Пришел утром чрезвычайно веселый, сказал, что немцев скоро разобьют. Люба спросила, откуда у него такие радужные сведения. Петр Григорьевич объяснил: «Я ехал к вам, и кто-то — не просто, а военный — сказал, что армия Гудерьяна подходит к Москве. Много танков. Значит, немцев прогонят». Петр Григорьевич решил, что Гудерьян — армянин. Мы долго смеялись, а Петр Григорьевич помрачнел: «Но в таком случае здесь нет ничего смешного...» [1].

Впервые я увидела его еще, наверное, в годы войны в читальном зале старого — румянцевского — корпуса Ленинской библиотеки. Кто-то показал: «Вон Богатырев. Это о нем писал Шкловский».

У Шкловского читаем:

«Глаза у него голубые, рост маленький, брюки

короткие; брюки бывают особенно коротки у коротконогих. Ботинки Богатырева не зашнурованы.

По улицам он то идет медленно, на цыпочках, то бегаёт наискось зайцем, — не говорит, а галдит.

Этот эксцентрик родился в семье цехового, на Волге. За умение хорошо декламировать попал в гимназию. Кончил. Пошел в университет филологом и здесь занялся теорией анекдотов.

Пишет Богатырев много и потом теряет рукописи.

В голодной Москве Богатырев не знал, что живет плохо. Жил, писал, халтурил, как и все, но не злобно...»

Ранние книги Виктора Шкловского — «Сентиментальное путешествие», «Зоо, или Письма не о любви» — тогда нам очень нравились. Читать такое было непривычно. Очень уж непохожи они были на то, что ассоциировалось с понятием «советская литература». Раскованная, причудливая проза, рваный стиль, неожиданные ассоциации, монтаж обрывочных фраз и при этом — зримая конкретность зарисовок. Вдобавок ко всему еще и какая-то спрятанная, невысказанная грусть. Потом, уже от самого Петра Григорьевича, я узнала, что «Письма» адресованы Эльзе Триоле. Он рассказывал, что, будучи в Москве, видимо, в 60-е гг., Эльза навестила Шкловского, застала его спящим, попросила не будить, поставила ему в ноги бутылку шампанского (надо полагать, французского) и удалилась.

Первоначально в моем сознании Петр Григорьевич прочно ассоциировался с «героем» Шкловского. Смутно представляла, что он чем-то еще знаменит, но точно мне ничего не было известно. Его работ нам официально не рекомендовали. И то, что это большой ученый с мировым именем — фольклорист, этнограф, театровед, литературовед и замечательный переводчик, — я пойму много позже. Тогда я не знала ни о Московском, ни о Пражском лингвистических кружках. А ведь это — важные вехи литературоведения. И не только отечественного. Как ни старательно мое поколение осваивало науку, нам было далеко до тех, кто родился в последнее десятилетие XIX в. и успел еще получить настоящее образование. Нам, мужавшим в 40-е, достались только крохи. Боюсь, что нашим «детям» — и того меньше — крохи крох.

Вернемся, однако, к событиям середины 40-х.

Фигура, увиденная в Ленинке, удивительно совпадала с образом, нарисованным Шкловским, хотя передо мной был не голодный московский литератор времен Гражданской войны, а профессор МГУ. Внизу, у самой двери я увидела невысокого человека, чуть встрепанного, с неровно свисающими полами пиджака («пиджак топыря», сказал бы по этому поводу Пастернак). Из-под тол-

стых стекол очков он выглядывал кого-то в зале. Типичный рассеянный профессор из анекдота...

И вот он появился в университете на третий год моего пребывания там. В один из солнечных сентябрьских дней, которые обычно так хороши в Воронеже, я увидела его в деканате. Деканат, как и весь факультет, тогда размещался в студенческом общежитии № 1. Меня поразил внимательный и удивительно добродушный взгляд его маленьких и — действительно — голубых глаз. Познакомились. Он спросил, как пройти на рынок. Я вызвалась проводить. Шли беседуя. На рынке купили яблоки. Возвратясь, зашли ко мне в общежитие, выпили чаю. Постепенно подружились. Петр Григорьевич заходил довольно часто. На одной из подаренных им книг сохранилась надпись: «Алле Борисовне Ботниковой в благодарность за ласку, борщ и крепкий чай». Все свои работы — книжки с предисловиями, книги переводов и статьи — он дарил непременно и непременно с милыми надписями. Иногда являлся с цветами. Приносил их почему-то в портфеле, и без того набитом книгами. Цветы имели изрядно помятый вид. Но он вручал их с галантными словами.

Он оставлял впечатление какой-то абсолютной житейской беспомощности, почти неправдоподобной. В ту первую прогулку на рынок он ухитрился взять с собой набитый книгами портфель, в котором с трудом поместились купленные яблоки. Ему дали комнату в том же общежитии, где обитала и я. В первое же утро он постучал ко мне. Вид имел весьма озабоченный, сказал, что вилка электрической плитки, на которой он намеревался вскипятить себе воду для чая, не входит в розетку. Иду к нему. На столе — куча бумаг. На полу — электрическая плитка. Около розетки радиосети бессильно висит вилка провода. Недоразумение улажено.

Его рассеянность замечалась всеми. Он мог прийти в университет в разных башмаках, с одной завороченной штаниной. Бесперывно что-то терял, забывал или уносил по ошибке. Я была свидетельницей его объяснения с проводницей вагона, которой он возвращал по ошибке захваченное полотенце. При встрече на улице он мог встать посередине огромной лужи, не замечая ее, и вести разговор с собеседником. О его странностях рассказывали истории, отнюдь не всегда придуманные.

Шкловский не без иронии описывает, как однажды в Москве, возвращаясь из театра, Богатырев снял шапку, чтобы вытереть вспотевший лоб. И тут же в шапке оказалась керенка. Проходивший мимо военспец бросил ее. Богатырев попробовал вернуть купюру, но даритель только

махнул рукой. Я потом спрашивала Петра Григорьевича, было ли это на самом деле. Он хитро уклонился от ответа. Как бы то ни было, рассеянным он оставался всегда. Но за анекдотичной «профессорской» рассеянностью все-таки, видимо, скрывалась сосредоточенная работа мысли, желание не отвлекаться по мелочам. Было в этом, однако, и нечто другое: сознательная позиция, своего рода защитная маска, а может быть, и некоторая доля хитрости человека, умудренного нелегким опытом поколения. Недаром он как-то спросил: «Похож я на Швейка?» Едва ли случайность, что он перевел знаменитый роман Ярослава Гашека. Между его героем и переводчиком, несомненно, существовала близость. Возможно, потому перевод и получился столь блистательным (это признают и чехи тоже).

В семье Богатыревых вопросами быта занималась жена Петра Григорьевича, Тамара Юльевна. Она следила за его одеждой, поддерживала порядок и в условиях воронежского общежития, и в тесной московской коммуналке на Якиманке, где повсюду были книги. Одна книжная полка была прибитая даже к створке двери. Потом Богатыревы переехали в литфондовскую кооперативную квартиру вблизи станции метро «Аэропорт». Там было просторнее, но книги все равно заполняли пространство. Тамара Юльевна как-то полусерьезно жаловалась при мне, что Петр Григорьевич отказывается самостоятельно зажигать газовую конфорку на плите. Лукаво сощурившись, тот отвечал, что профессор Розанов, например, даже к телефону не подходил, а его знакомство с техникой больше: он телефоном пользуется.

Главным для него была, конечно, работа. Он много писал, любил видеть свои вещи опубликованными. В воронежские годы много занимался славянскими литературами. Условия для научной работы в это время были более чем ограниченными. Он занялся переводами. Переводил много. Издавал писателей-славян, готовил предисловия и комментарии к их сочинениям. У меня сохранились подаренные им издания: «Старинные чешские сказания», пьесы Й. К. Тыла, сборник болгарской народной поэзии, конечно же, «Приключения бравого солдата Швейка», учебник по русскому народному творчеству и др. Параллельно он писал и для научных сборников. Тогда дарил оттиски. Застать его всегда можно было только за работой. В комнате общежития, где на окнах не было штор, за заваленными книгами, предназначавшимися на все нужды столом, он писал, примостившись на маленьком свободном уголке, не обращая внимания на явное неудобство. Позже, уже в Москве, ему стало отказы-

вать зрение. Работал с лупой, но трудился почти непрерывно.

Преданный науке, он не слишком заботился о своей известности. Вообще был удивительно скромным. Никогда не поучал, никогда не демонстрировал своего превосходства, неизменно держался в тени, остерегаясь кому-либо навязывать свое мнение. Казалось, даже не считал себя крупным ученым. И лекции читал суховато, ровно, ни интонацией, ни голосом не стремясь выделить главное. Желания привлечь внимание аудитории каким-нибудь эффектным рассказом у него явно не было. Раза два я побывала на его лекциях. Не все студенты слушали его. А он явно не стремился к тому, чтобы слушали все. И это, как я понимаю, не из пренебрежения к аудитории, а, как это ни парадоксально, из уважения к человеческой свободе. Он вообще был очень терпим и никому ни себя, ни свое мнение не навязывал...

И все-таки было в нем что-то, что заставляло к нему прислушиваться. Я многое почерпнула за время общения с ним. Он-то и рассказал мне об ОПОЯЗе*, о Пражском литературном кружке, от него же я впервые услышала о семиотике. Он был лично знаком со многими деятелями русской культуры — Пастернаком, Маяковским, Эренбургом. В числе его ближайших друзей был Роман Якобсон. Знал он и других западных славистов. Прожив долгие годы в Чехословакии, он познакомился со многими тамошними писателями, помнил и Ярослава Гашека. Вспоминал обо всех охотно.

Преданность делу у него была потрясающая; он рассказывал, как собирал образцы народных вышивок для чешского этнографического музея. Для этого переодевался, представлялся не то коробейником, не то старьевщиком, разъезжал по деревням, выменивал у крестьянок на нитки, ленты, мыло старинные вышивки. Кстати, от него я узнала, что рукоделие может содержать некие опознавательные знаки, способные дать богатую информацию специалисту. Не меньшую, чем черепки из археологических раскопок.

В моей памяти Петр Григорьевич остался воплощением подлинного ученого, для которого исследование — содержание и смысл жизни, а не способ сделать карьеру. Думаю, что именно он научил меня уважению к факту, даже, казалось бы, совсем малозначительному, опоре на него в

* ОПОЯЗ — Общество изучения теории поэтического языка — научное объединение, обосновавшее так называемый «формальный метод» в литературоведении, оказавшее большое влияние на последующее развитие науки.

любой концепции. И все это он преподавал мне как бы вскользь, мимоходом, ни на минуту не становясь в наставническую позу. В начале нашего знакомства, озабоченная прежде всего лекциями, подготовка к которым занимала все время, я как-то обронила, что преподавателю не обязательно заниматься научной работой, пусть просто хорошо читает лекции. Петр Григорьевич только удивился и сказал: «Как же так? Нет». Это его простодушное удивление запало в сознание на всю жизнь и подействовало сильнее, чем любая назидательная речь.

В Воронеж Петр Григорьевич, как уже говорилось, приехал не столько по собственной воле, сколько по необходимости. После того как был арестован его сын Костя, его уволили из Московского университета. Пришлось искать место. В Воронеже были вакантные ставки. К чести тогдашнего нашего ректора он не боялся брать ученых, от которых отказывалась официальная Москва и которых не обошло вниманием недремлющее око всезнающих органов. Потом Богатыревы вспоминали, что после ареста Кости у них замолчал телефон, московские друзья и знакомые опасались не только встречаться, но и разговаривать с ними. В Воронеже они нашли благожелательную атмосферу и друзей. Петр Григорьевич счел нужным сказать об этом во время празднования своего 70-летия в их московской квартире в 1963 году.

Судьба сына Петра Григорьевича — Константина — была поистине трагичной. Солдат во время войны, закончивший ее в Германии, он стал студентом Московского университета. Изучал там германистику. На одном из начальных курсов был арестован по столь же чудовищному, сколь и нелепому обвинению в намерении взорвать Кремль. Был сначала приговорен к смертной казни, а потом, после пересмотра дела, — к 25 годам лишения свободы. Несколько месяцев провел в камере смертников, потом — годы в лагере. В 1956 г. во время хрущевской «оттепели» его освободили, реабилитировали, но, похоже, не выпустили из-под надзора до конца жизни.

Константин Петрович Богатырев стал известным переводчиком с немецкого. Его хорошо знали в Германии. Его друзьями были Генрих Бёлль, Ганс-Вернер Рихтер и другие немецкие писатели*. Погиб он при невыясненных обстоятельствах от удара чем-то тяжелым перед дверью своей

квартиры. Убийцу, разумеется, не нашли. Отец не дождал до страшного конца сына.

В Воронеже все, конечно, знали, что у Петра Григорьевича «что-то с сыном». Расспрашивать было не принято. Но однажды — затрудняюсь сказать, в каком году это произошло, — Петр Григорьевич и Тамара Юльевна приехали в Воронеж какими-то изменившимися и вечером — мы были только вдвоем — поведали, что навещали сына в одном из лагерей Воркуты. Костя очень просил родителей прислать ему в лагерь стихи Пастернака, и я отдала им единственный имевшийся у меня сборник стихов поэта. О своей лагерной жизни позже мне рассказывал сам Костя. Он говорил, что на допросах его больше спрашивали об отце и Эренбурге, чем о его собственных «террористических» намерениях. Видимо, пытались и на них завести «дело». А в этот раз помню нескрываемую гордость Петра Григорьевича, который, ссылаясь на слова сына, сказал, что на допросах тот вел себя «на четверку с плюсом». Потом с Костей и с его первой женой Соней (Софьей Игнатьевной Богатыревой) мы подружились. Как и отец, Костя неизменно дарил мне все издания своих переводов.

Несмотря на то, что наше знакомство с Богатыревыми состоялось в трудные для них годы, они оба неизменно проявляли интерес к жизни и окружающим людям, не озлобились, не замкнулись. В Воронеже они посещали театральные премьеры, концерты. Петра Григорьевича отличала какая-то особая доброта, может быть, даже детскость. Он и сам любил детей, охотно дарил им игрушки. Как-то раз принес моему сыну глиняного соловья и сам упоенно и самозабвенно высвистывал на нем замысловатые трели.

Нотто ludens во плоти, он вообще любил игры всякого рода: и театральные, и народные, и любительские. Игра была его естественным состоянием, его стихией. В доме Богатыревых была целая коллекция кукол. Особенно гордился он Гурвинеком — персонажем чешского театра марионеток. В праздничные дни у Богатыревых играли в шарады. Теперь совсем забытая игра. Раньше она практиковалась в домах с артистическим уклоном. Суть ее в том, что собираются участники действия, придумывают какое-нибудь слово, театрализируют отдельные его части, а присутствующие должны по небольшим представлениям угадать целое слово. Это не всегда просто, но всегда забавно. Мне довелось присутствовать на таких представлениях. В числе «актеров» бывали и сам Петр Григорьевич, и Костя, однажды видела я и В. Б. Шкловского, изображавшего языческого бога, видимо, Вахха. Он сидел, увенчанный вместо виноградных лоз чем-то вроде

* В 1982 г. в Германии в издательстве «Ламув» вышла книжка под названием «Жизнь после смертного приговора», посвященная К. П. Богатыреву. В числе ее авторов — Г. Бёлль, В. Казак, Р. Якобсон, В. Аксенов, Л. Копелев, В. Некрасов, Л. Чуковская и др.

елочных гирлянд. Бог — составная часть фамилии «Богатырев». Остальную часть образовывала группа гостей, скакавшая по комнатам с оглушительным рёвом и еще нестройно распеваящая «аты-баты, шли солдаты». Бог — аты — рев.

Как-то на одном из дней рождения Петра Григорьевича в их крохотной квартирке на Якиманке (хотя в ту пору улица носила имя Димитрова, они именовали ее по-старинке) разыгрывалось не припомню какое слово, но составной частью его был «кит». И сейчас невозможно без улыбки вспомнить, как «натурально» представлял Петр Григорьевич кита. Он лежал на животе на полу и, держа над головой маленькую детскую клизму, пускал из нее вверх струю, ничуть не боясь

вымокнуть. Смеялись все, он же оставался серьезным и сосредоточенным. Умение отдаться игре — признак творческой личности. «Она есть свобода», — сказал об игре Йохан Хейзинга. Игра дает человеку свободу самовыявления. И Петр Григорьевич Богатырев — тому живой пример. Он всегда оставался самим собой. И когда совершал научные экспедиции или писал свои работы, и когда общался с людьми, и когда предавался игре. Он никогда не стремился казаться, он просто *был*, воплощая в себе постоянство культуры.

Литература

1. Эренбург И. Собр. соч. : в 9 т. / И. Эренбург. — М., 1967. — Т. 9. — С. 278—279.